



**АЛЬБЕР**

**КАМЮ**

*ИЗНАНКА И ЛИЦО  
БРАЧНЫЙ ПИР  
ЛЕТО*

*Книги, изменившие мир.  
Писатели, объединившие  
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я   К Л А С С И К А

**Альбер Камю**  
**Изнанка и лицо.**  
**Брачный пир. Лето**  
Серия «Эксклюзивная классика (АСТ)»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=67740132](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67740132)  
Изнанка и лицо. Брачный пир. Лето: АСТ; Москва; 2022  
ISBN 978-5-17-137322-1*

### **Аннотация**

В эту книгу вошли классические произведения Альбера Камю из сборников «Изнанка и лицо», «Брачный пир» и «Лето».

Эссе – жанр, занимавший в творчестве Камю особенное место. Жанр, к которому он обращался снова и снова на протяжении всей своей жизни и в котором чувствовал себя, пожалуй, наиболее свободным – и как философ, и как писатель.

Это могло быть эссе чисто экзистенциалистское или эссе скорее поэтическое, но чаще всего Камю удавалось вполне естественно сочетать в своих очень небольших по объему произведениях художественные достоинства с философскими.

*В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.*

# Содержание

Изнанка и лицо	5
Предисловие[1]	5
Ирония[4]	22
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# Альбер Камю

## Изнанка и лицо.

### Брачный пир. Лето

Albert Camus

L'ENVERS ET L'ENDROIT

NOCES

L'ÉTÉ

© Editions Gallimard, Paris, 1958, 1959

© Перевод. Д. Вальяно, наследники, 2018

© Перевод. С. Великовский, наследники, 2018

© Перевод. Н. Галь, наследники, 2022

© Перевод. Л. Григорьян, наследники, 2018

© Перевод. Т. Чугунова, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2022

# Изнанка и лицо (сборник)

*Жану Гренье*

## Предисловие<sup>1</sup>

Эссеистика, объединенная в этом томе, писалась в 1935–1936 годах (мне тогда было двадцать два года) и была опубликована мизерным тиражом в Алжире год спустя. Это издание давно уже стало библиографической редкостью, и я упорно отказывался от переиздания «Изнанки и лица».

В моем упрямстве не было никакой тайны. Я ни на йоту не отказываюсь от того, что запечатлено в этих текстах, но их форма всегда казалась мне неуклюжей. Предрассудки, связанные с искусством, которые я мимовольно взращивал в себе (к этому я еще вернусь), долго мешали мне решиться на переиздание. Но, быть может, виной тому было тщеславие, внушившее мне, что все мои другие книги безупречны? Нужно ли говорить, что дело было не в этом? Просто я более чувствителен к промахам «Изнанки и лица», чем к известным мне недостаткам прочих моих книг. Но тогда необходи-

---

<sup>1</sup> © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян. К изданию 1958 года.

мо признать, что моя первая книга затрагивает и частично выявляет предмет, наиболее близкий моему сердцу. Покончив с вопросом о художественной ценности этой небольшой книги, я могу сознаться, что для меня очень важна такая ее ценность, как ценность свидетельства. Я говорю сугубо о себе, так как именно для меня она о многом свидетельствует и именно от меня требует верности, трудность и глубина которой ведома мне одному.

Попытаюсь объяснить.

Брис Парен не впервые утверждает, что эта маленькая книга содержит лучшее из написанного мною. Парен ошибается. Но я на этом не настаиваю, зная о его доброжелательности, я понимаю его категоричность, свойственную людям искусства, и нетерпимость к тем, кто имеет дерзость предпочитать то, чем он был, тому, чем он стал. Брис Парен ошибается потому, что в двадцать два года, если ты не гений, то лишь начинаешь постигать азы писательства. Но я понимаю, что Парен, этот убежденный враг искусства и философ сострадания, имеет в виду. Он имеет в виду – и тут он прав, – что в этих неуклюжих страницах больше доподлинной любви, чем во всех последующих книгах.

Каждый художник хранит в глубине души особый источник, который питает в течение всей его жизни то, чем он является, и то, о чем он говорит. Когда источник иссякает, мало-помалу видишь, что творчество засыхает и растрескивается. Эти бесплодные территории искусства больше не живо-

творит невидимый поток. И когда этот истончившийся, как волос, источник становится скудным и безводным, художнику, покрытому ошметьями жнивья, остается молчать или болтать в гостиных, что одно и то же. Что до меня, то я знаю: мой источник – в «Изнанке и лице», в этом мире бедности и света, где я так долго жил и воспоминания о котором оберегают меня от двух противоположных опасностей, угрожающих каждому художнику, – злобы и самоупоенности.

С самого начала я никогда не ощущал бедность как несчастье: свет рассыпал на ней свои несметные сокровища. Даже мои мятежи были освещены им. Они были (полагаю, что могу утверждать это без тени лукавства) мятежами ради всех, ради того, чтобы жизнь всех возвысилась до яркого света. Едва ли мое сердце было от природы расположено к такому виду любви, но мне помогли обстоятельства. Чтобы исправить прирожденное равнодушие, меня поместили как раз посередине меж бедностью и солнцем. Бедность не давала мне верить, что под солнцем и в истории все обстоит наилучшим образом; солнце научило меня, что история – это еще не все. Изменить жизнь – да, но не мир, который был для меня священен. Сознаюсь, я начал свой непростой путь почти в неведении, ступив на натянутую нить, по которой с трудом продвигаюсь вперед, отнюдь не уверенный, что достигну цели. Короче говоря, я стал художником, если правда то, что нет искусства без отказа и гармонии.

Так или иначе, но живительное тепло, царившее над мо-

им детством, избавило меня от всякой злобы. Я пребывал в нужде, но одновременно и в каком-то восторге. Я чувствовал в себе безграничные силы: нужно было только найти для них применение. Силам этим препятствовала вовсе не бедность: в Африке море и солнце даются даром. Препятствие было скорее в предрассудках или в собственной глупости. У меня были все возможности развить свою «кастильскую гордыню», которая причинила мне немало вреда, которую с полным основанием высмеивает мой друг и учитель Жан Гренье и от которой я безуспешно пытался избавиться, пока не понял, что существует некая предопределенность характеров. Лучше было принять собственную гордыню и заставить ее служить себе, чем отдаться, как говорит Шамфор, принципам более сильным, чем характер. Но, положив руку на сердце, я могу засвидетельствовать, что среди моих многочисленных слабостей никогда не наличествовал самый распространенный человеческий недостаток, я имею в виду зависть, суцую язву всех обществ и доктрин.

Я не сам воспитал в себе этот счастливый иммунитет. Я обязан им моим близким, которые, нуждаясь почти во всем, не завидовали почти ничему. Только благодаря молчаливости, сдержанности, врожденной неброской гордости эти люди, даже не умевшие читать, дали мне тогда самые возвышенные уроки, сохранившиеся навсегда. К тому же я был настолько поглощен чувствами, что не мечтал о чем-то другом. Даже теперь, когда я наблюдаю в Париже жизнь очень

богатых людей, они вызывают у меня глухое сострадание. В мире много несправедливости, но есть одна, о которой никогда не говорят: это несправедливость климата. Я долго пользовался плодами такой несправедливости, сам того не зная. Я уже слышу филиппики наших ревностных филантропов, если только они меня читают. Я-де хочу представить рабочих богатыми, а буржуа бедными, чтобы и дальше сохранять счастливое рабство одних и могущество других. Нет, это не так. Наоборот, когда бедность сопрягается с той жизнью без неба и надежды, которую я, возмужав, обнаружил в ужасных предместьях наших городов, тогда последняя и самая возмутительная несправедливость достигает пика: нужно сделать все, чтобы эти люди избежали двойного унижения нищетой и уродством. Родившись бедным, в рабочем квартале, я, однако, не ведал, что такое настоящее несчастье, пока не узнал ужаса наших промозглых пригородов. Даже крайняя нищета арабов не может с этим сравниться из-за различия небес над головой. Познав хотя бы раз промышленные предместья, чувствуешь себя навек оскверненным и ответственным за их существование.

То, что я сказал, сушая правда. Иногда я встречаю людей, которые живут в невообразимом богатстве. Однако я не могу себе представить, что такому богатству можно завидовать. Однажды, много лет назад, я целую неделю жил, наслаждаясь всеми благами мира: мы спали под открытым небом, на пляже, я питался фруктами и по полдню купался – один на

весь берег. В это время я познал истину, которая всегда побуждала меня воспринимать признаки комфорта и вообще обустройства с иронией, нетерпением, а порой и с яростью. Хоть теперь я живу, не заботясь о завтрашнем дне, то есть как человек привилегированный, я не умею чем-либо владеть. Я не могу сохранить ничего из того, что имею и что мне было предоставлено без всяких усилий с моей стороны. И мне кажется, что причина тому – не расточительность, а скорее особый вид бережливости: я жаден до свободы, которая исчезает из-за избытка благ. Самая большая из роскошей всегда совпадала для меня с некой утратой. Я люблю голые стены дома арабов или испанцев. Номер в гостинице – вот где я предпочитаю жить и работать и где легко мог бы умереть. Я никогда не мог предаться тому, что называют внутренней домашней жизнью, которая так часто является противоположностью истинной внутренней жизни; счастье, именуемое мещанским, вызывает у меня скуку и отвращение. Этим моим свойством, впрочем, не стоит гордиться; оно немало способствовало подпитке моих дурных качеств. Я ничему не завидую, и это мое право, но я не всегда представляю себе зависть других, а это лишает меня воображения, то есть доброжелательства. Правда, я создал для личного пользования лозунг: «Надо применять свои принципы в большом, в малом достаточно милосердия». Увы! Лозунги создают, чтобы залатать прорехи в собственном характере. А мое милосердие скорее зовется безразличием. И его резуль-

таты, как нетрудно догадаться, менее благотворны.

Но я хочу всего лишь подчеркнуть, что бедность не обязательно предполагает зависть. Даже позже, когда тяжелая болезнь временно лишила меня жизненных сил, которые все во мне преобразовали, несмотря на невидимые немощи и новые слабости, которые я в себе обнаруживал, даже тогда я познал лишь страх и отчаяние, но только не горечь. Эта болезнь, вне всяких сомнений, добавила другие, более тяжкие недуги к тем, что уже гнездились во мне. Но в конечном счете она способствовала свободе сердца, этой легкой отстраненности от человеческих страстей, которая всегда предохраняла меня от злобы. С тех пор, как я живу в Париже, я знаю, что это королевская привилегия. Но я всегда наслаждался ею без оглядок и угрызений совести, во всяком случае, доселе она озаряла мою жизнь. К примеру, как художник я начинал в состоянии восторга, то есть в каком-то смысле в земном раю. (Известно, что сейчас во Франции есть обычай дебютировать в литературе и даже завершать литературную карьеру, выбирая какого-нибудь художника мишенью насмешек.) К тому же мои личные чувства никогда не были «против». Люди, которых я любил, всегда были лучше и значительнее меня. Бедность, которую я пережил, научила меня не злобе, но, наоборот, некоторой верности и немому упорству. Если мне случалось об этом забывать, то в том повинны только я и только мои недостатки – отнюдь не мир, в котором я родился.

Воспоминание об этих годах также не давало мне быть довольным результатами моего труда. Здесь я хочу рассказать с такой простотой, на какую только способен, о том, о чем писатели обычно умалчивают. Я не стану говорить об удовлетворении, которое, по-видимому, получаешь от каждой удавшейся книги или страницы. Я не уверен, что так уж много художников такое удовлетворение испытывают. Что до меня, то не думаю, чтобы когда-либо я получал удовольствие, перечитывая законченную страницу. Могу даже признаться – и тут меня можно поймать на слове, – что успех некоторых моих книг меня всегда удивлял. К этому, безусловно, привыкаешь, и это довольно мерзко. Однако даже сегодня я ощущаю себя подмастерьем рядом с писателями-современниками, за которыми я признаю их истинные заслуги, и первым из них я назову того, кому двадцать лет назад посвятил эти эссе. Писатель, естественно, имеет свои радости, ради которых он живет и которые способны его щедро одарить. Но что касается меня, то я испытываю их в миг появления замысла, в момент, когда определяется сюжет, когда перед внезапно прояснившимся внутренним взором вырисовываются сочленения твоей задумки, в те сладостные минуты, когда воображение окончательно сливается с разумом. Эти мгновения проходят так же неожиданно, как и рождаются. Остается исполнение замысла, то есть долгий нелегкий труд.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Жан Гренье.

С другой стороны, у художника есть радости тщеславия. Писательское ремесло – особенно во французском обществе – часто превращается в ремесло тщеславия. Я говорю об этом, однако, без презрения, да и навряд ли с сожалением. Здесь я похож на других; кто может счесть себя свободным от этой глупой слабости? В конце концов, в обществе, обреченном на зависть и издевку, всегда наступает день, когда наши писатели, осыпанные насмешками, дорого платят за эти жалкие радости. Но за двадцать лет литературной жизни я имел очень мало подобных радостей от профессии, и с течением времени их становилось все меньше.

Разве не воспоминание об истинах, смутно угаданных в «Изнанке и лице», всегда мешало мне чувствовать себя комфортно в публичном воплощении моего ремесла, разве не оно вынуждало меня столько всего отвергать, что лишило меня многих друзей? Игнорируя похвалы или знаки почтения, даешь повод славословящему думать, что ты относишься к нему с пренебрежением, тогда как на самом деле ты сомневаешься только в себе самом. Если бы я проявил ту смесь суровости и любезности, которая встречается в литературном мире, даже если бы я преувеличил свою кичливость, как многие другие, я заполучил бы куда больше симпатии, так как я наконец принял бы участие в игре. Но что делать – эта игра меня не развлекает! Честолюбие Рюбампре и Жюльена Сореля часто приводит меня в замешательство своей неприхотливостью и наивностью. Честолюбие Ницше,

Толстого или Мелвилла меня волнует хотя бы потому, что оно закончилось их поражением. В глубине души я чувствую себя униженным только перед самыми жалкими судьбами или самыми великими проявлениями духа. Между ними находится современное общество, способное вызывать лишь смех.

Иногда на театральных премьерах, которые являются единственным местом, где я встречаю то, что заносчиво называется «светским Парижем», мне кажется, что зал вот-вот исчезнет, что этот призрачный мир не существует вовсе. Мне представляются куда более реальными другие – великие персонажи, вопиющие на подмостках. Но чтобы не удрать, нужно вспомнить, что каждый из этих зрителей тоже имеет в перспективе свидание с самим собой, что он об этом знает и, несомненно, вскорости на него отправится. И сразу возникает новое братство: одиночество объединяет тех, кого разлучает общество. Но зная все это, как угождать сему миру, как домогаться его смешных привилегий, поздравлять всяких авторов со всякими книгами, подчеркнуто благодарить благосклонного критика, как пытаться соблазнить противника и особенно с каким лицом принимать комплименты и то восхищение, каковое французское общество – по крайней мере в присутствии автора (ибо стоит ему уйти, как начнется такое!..), – смакует, как перно. Я ничего тут не понимаю, это факт. Может быть, здесь присутствует много той злой гордыни, власть и устойчивость которой во мне самом

мне доподлинно известна. Но если бы только это, если бы пыжилось только одно мое тщеславие, мне кажется, что тогда я хотя бы поверхностно радовался похвалам вместо того, чтобы видеть в них непрерывно повторяющуюся неловкость. Нет, я чувствую, что тщеславие, которым я обладаю вкупе с людьми моего положения, особенно остро реагирует на кое-какую критику, которая содержит весомую часть правды. Перед наплывом комплиментов отнюдь не гордость придает мне тот ленивый и неблагодарный вид, который я хорошо за собой знаю, но (одновременно с глубоким безразличием, существующим во мне наподобие недуга характера) особое, возникающее в тот момент чувство: «Это не то...» Нет, это не то, и потому порой столь трудно поддерживать свою репутацию, что испытываешь некое злорадство, делая все, чтобы ее потерять. И наоборот, по прошествии стольких лет, перечитывая ради этого переиздания «Изнанку и лицо», я инстинктивно чувствую, когда перелистываю некоторые страницы, что, невзирая на их несовершенство, это именно то: эта старая женщина, молчаливая мать, эта бедность, этот свет над оливковыми деревьями Италии, эта любовь, одинокая и полная людей, – все, что в моих собственных глазах свидетельствует о правде.

С тех пор, как были написаны эти страницы, я постарел и немало пережил. Я многое узнал о себе, уяснив все свои возможности и почти все свои слабости. Я гораздо меньше узнал о людях, потому что мое любопытство простиралось

скорее на их судьбы, чем на их поведение, а судьбы часто повторяются. Во всяком случае, я узнал, что они существуют и что эгоизм, раз уж он не может собой поступиться, должен пытаться быть по крайней мере проникательным. Наслаждаться собой невозможно; я это усвоил, несмотря на немалые способности к этому упражнению. Если одиночество существует, в чем я не уверен, люди были бы вправе мечтать о нем, как о рае. Я иногда мечтаю о нем, как и все прочие. Но два тихих ангела всегда запрещали мне погрузиться в него: один имел лицо друга, а другой – лицо врага. Да, я все это знаю, и еще я понял, или почти понял, чего стоит любовь. Но о самой жизни я знаю не больше того, что так неуклюже изложено в «Изнанке и лице».

«Нет любви к жизни без отчаяния», – написал я не без выпренности на этих страницах. В то время я не осознавал, насколько был прав, я еще не вступил в полосу подлинного отчаяния. Эти времена настали, и они могли разрушить во мне все, кроме необузданного желания жить. Я до сих пор страдаю от этой страсти, одновременно благотворной и разрушительной, звучащей даже на самых мрачных страницах «Изнанки и лица». Кем-то было сказано, что по-настоящему мы живем лишь несколько часов нашей жизни. В определенном смысле это правда, в определенном – ложь, поскольку исступленный пыл, который вы ощутите в нижеследующих очерках, никогда меня не покидал, и в конечном счете он является самой жизнью в лучших и худших ее проявle-

ниях. Разумеется, я хотел исправить то худшее, что породила во мне эта жажда. Как и все, я попытался худо-бедно облагородить свою природу морально. Но увы! Как раз это мне очень дорого обошлось. С помощью энергии, а она у меня есть, иногда удается вести себя – но отнюдь не существовать – в соответствии с моралью. А мечтать о морали, когда живешь страстями, значит обречь себя на несправедливость в то самое время, когда говоришь о справедливости. Человек иногда представляется мне как несправедливость в действии: я говорю о себе. Если мне в данный момент кажется, что я в своих произведениях иногда ошибался или лгал, то это потому, что я не знаю, как честно признать свою неправоту. Конечно, я никогда не говорил, что был справедлив. Мне только случалось говорить, что нужно пытаться таковым быть и что это мука и несчастье. Но разве разница здесь так уж велика? Может ли действительно проповедовать справедливость тот, кому не удастся воплотить ее даже в своей жизни? Если бы по крайней мере можно было бы жить сообразно чести, этой добродетели несправедливых! Но наш мир считает это слово непристойным: аристократ участвует в литературных и философских перепалках. Я не аристократ, мой ответ содержится в этой книге: вот мои близкие, мои учителя, мое потомство, вот то, что через них объединяет меня со всеми. И однако же, признаться, я нуждаюсь в чести, потому что я недостаточно велик, чтобы обойтись без нее.

Но не все ли равно! Я только хотел отметить, что если я

и прошел долгий путь со времени написания этой книги, – то все же не так уж продвинулся вперед. Часто, полагая, что продвигаюсь, я отступал. Но, в конце концов, мои ошибки, мое незнание и моя верность всегда выводили меня снова на ту старую дорогу, которую я начал открывать с «Изнанки и лица» и следы которой видны во всем, что я сделал потом и по которой в иные утра я все еще бреду в Алжире с тем же легким опьянением в душе.

Почему же, если это так, я долго отказывался предъявлять это слабое свидетельство? Прежде всего потому, что во мне есть – я должен это повторить – художественная сопротивляемость, как у других бывает сопротивляемость нравственная или религиозная. Запретный императив, мысль, что «так не делается», которые мне чужды как сыну первозданной природы, представляются мне как рабу, и рабу восхищенному непреложной художественной традицией. Может быть, это недоверие опирается также на мою глубокую анархичность и потому остается плодотворным. Я знаю свои душевные смуты, буйность определенных инстинктов, беспощадное самозабвение, в которое я могу безоглядно кинуться. Чтобы быть созданным, художественное произведение должно пользоваться прежде всего темными силами души. Но при этом необходимо их направлять, окружать запрудами, чтобы их уровень поднимался еще. Возможно, мои запруды даже сегодня слишком высоки. Отсюда порой эта скованность... Просто тогда, когда установится равновесие между тем, что я

есть, и тем, что говорю, возможно, – и я едва осмеливаюсь это произнести – я смогу создать произведение, о котором мечтаю. Признаюсь откровенно, оно будет тем или иным образом похоже на «Изнанку и лицо» и будет повествовать о некоей разновидности любви. Отсюда понятна и вторая причина, побудившая меня сохранить эти юношеские сочинения для себя. Самые дорогие для нас тайны мы сообщаем беспорядочно и неумело, мы выставляем их в чрезмерно вычурном маскарадном наряде. Лучше подождать, когда станешь искусным и сможешь придать им форму, не переставая прислушиваться к их голосу, когда сумеешь объединить в приблизительно равных дозах искусство и безыскусность, наконец, когда будешь существовать. Ибо существовать – это все мочь одновременно. В искусстве все приходит одновременно или не приходит вовсе; нет света без пламени. Стендаль воскликнул однажды: «Моя душа – это огонь, который томится, если не пылает». Те, кто в этом похож на него, должны творить только в подобном пылании. Вершина пламени исторгает крик и преобразуется в слова, которые, в свою очередь, этот крик выражают. Я имею в виду, что все мы, художники, не уверенные, что мы действительно художники, но уверенные, что мы не есть что-то другое, день за днем ждем мгновения, чтобы наконец согласиться жить.

Но раз речь идет о таком, возможно, тщетном ожидании, почему же именно теперь я решаюсь на эту публикацию? Прежде всего потому, что читатели смогли найти аргумент,

который меня убедил. И потом, в жизни художника всегда наступает пора, когда он должен определиться, приблизиться к собственному центру, чтобы затем попытаться там удержаться. Так обстоит дело сегодня, и мне нет необходимости говорить об этом еще. Если, несмотря на столько усилий, чтобы создать язык и оживить вымысел, мне не удастся однажды вновь написать «Изнанку и лицо» на ином уровне, я никогда ничего не достигну – таково мое пессимистическое убеждение. Во всяком случае, мне ничто не мешает мечтать, что я еще смогу поставить в центре этого произведения восхитительное молчание матери и усилия человека обрести справедливость или любовь, которая уравновесила бы это молчание. Вот человек, находящийся в сновидении жизни свои истины и теряющий их на земле смерти, чтобы наконец вернуться сквозь войны, вопли, безумие справедливости и любви, наконец, страдания к этой тихой отчизне, где сама смерть – лишь счастливое молчание. И еще... Да, ничто не мешает мечтать даже в период изгнания, ибо я знаю – и знаю твердо, – что всякое творчество есть не что иное, как долгое продвижение ради того, чтобы обрести с помощью обходных путей искусства два-три простых и великих образа, на которые когда-то впервые отозвалось сердце. Вероятно, поэтому после двадцати лет литературной работы я продолжаю жить с мыслью, что мое творчество еще и не началось. Эта мысль пришла ко мне в связи с данным переизданием, когда я вернулся к своим первым страницам. Имен-

но ее я хотел бы напоследок отметить.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Он прост: «Эта книга уже существует, но в ничтожно малом количестве экземпляров, которые стоят очень дорого. Почему только богатые имеют возможность ее читать?» И действительно, почему?

## Ирония<sup>4</sup>

Два года назад я познакомился с одной пожилой женщиной. Она страдала болезнью, от которой, по ее мнению, должна была умереть. Правая сторона ее тела была парализована. Иначе говоря, только одна ее половина принадлежала ей, другая же была как бы чужой. Болтливая и вертлявая маленькая старушка оказалась обречена на молчание и неподвижность. Долгими днями она оставалась совершенно одна, неграмотная, маловосприимчивая, и вся ее жизнь свелась к Богу. В Бога она веровала. Доказательством тому служили ее четки, свинцовое распятие, выполненные под мрамор Святой Иосиф с Младенцем. Вообще-то она сомневалась, чтобы ее болезнь была так уж неизлечима, но настаивала на этом, чтобы ею заинтересовались, в остальном полагаясь на Бога, которого она еще недавно любила так нерадиво.

И вот однажды кто-то действительно ею заинтересовался. Это был некий молодой человек. (Он считал, что болезнь ее не смертельна, но понимал, что эта женщина скоро умрет, не пытаясь разрешить это противоречие.) Он проявил искреннее сочувствие к томящейся смертной тоской старухе. И она это мигом почувствовала. Это сочувствие было для нее неожиданной удачей. Она охотно рассказывала ему о своих страданиях: она уже одной ногой в могиле, пора уступить

---

<sup>4</sup> © Перевод. Д. Вальяно, Л. Григорьян.

место молодым. Скучно ли ей? Конечно. Ведь с ней не разговаривали. Отвели ей свой угол, как собаке. Лучше уж с этим покончить. Потому что она предпочитает умереть, нежели быть для кого-нибудь обузой.

Голос ее стал сварливым. Это был голос рынка, торговых рядов. Однако молодой человек все понимал. И тем не менее он считал, что лучше быть для других обузой, чем умереть. Но это доказывало только одно: он наверняка никогда не был ни для кого обузой. Он говорил старухе – поскольку видел ее четко: «Вам остается уповать на Бога». Это была правда. Но даже тут ей досаждали. Если ей случалось долго молиться и взгляд ее замирал на какой-нибудь завитушке обоев, ее дочь ворчала: «Ну вот, опять она молится! – А тебе-то что? – возмущалась больная. – Мне-то ничего, но в конце концов это действует на нервы». И старуха умолкала, устремляя на дочь долгий укоризненный взгляд.

Молодой человек слушал все это с новым для него безграничным огорчением, теснившим ему грудь. А старуха говорила: «Ничего, она все это поймет, когда сама постареет! Ей это тоже понадобится!»

Чувствовалось, что старуха освободилась от всего, кроме Бога, она полностью отдалась своему последнему недугу, добродетель ее диктовалась необходимостью, она слишком легко уверилась в том, что ей осталось единственное благо, достойное любви, и она безвозвратно погрузилась в муку пребывания человека в Боге. В конце концов, надежда неис-

требима, а Бог не станет противиться устремлениям человека.

Сели за стол. Молодой человек был приглашен к ужину. Старуха ничего не ела, потому что еда вечером тяжела для желудка. Она осталась в своем углу, за спиной своего недавнего собеседника. Молодой человек, чувствуя, что за ним наблюдают, ел скверно. Однако ужин подходил к концу. Чтобы продлить общение, решили пойти в кино. Как раз шла довольно веселая кинолента. Молодой человек легкомысленно согласился, не подумав о той, что продолжала пребывать за его спиной.

Гости встали и отправились помыть руки перед выходом. Совершенно очевидно, и речи не могло быть, чтобы старуха пошла с ними. Даже если бы она и не была такой немощной, ее невежество помешало бы ей разобраться в фильме. Она говорила, что не любит кино. На самом деле она его просто не понимала. Она оставалась в своем углу, проявляя пустопорожний интерес к бусинкам своих четок. Но в них она вкладывала всю свою веру. Три предмета, хранимые ею, обозначали материальное начало божественного. За четками, распятием и Святым Иосифом раскрывалась великая тьма, в которую она устремляла всю свою надежду.

Все были готовы. Подходили к старухе, целовали ее и желали спокойной ночи. Она уже все поняла и лишь сжимала четки. Однако этот жест можно было воспринимать и как жест отчаяния, и как проявление религиозного рвения. Все

ее уже поцеловали – оставался только молодой человек. Он сердечно пожал старухе руку и уже было повернулся к дверям. Но она видела, что уходит тот, кто ей сочувствует. Ей не хотелось оставаться одной. Она уже испытывала ужас перед одиночеством, долгой бессонницей, печальным свиданием с Богом. Ей было страшно, она надеялась только на этого человека и, цепляясь за единственное существо, которое проявляло к ней интерес, она не выпускала его руку и все пожимала ее, неловко благодаря его, чтобы оправдать свою назойливость. Молодой человек был смущен. Остальные уже оборачивались, чтобы поторопить его. Сеанс начинался в девять, и надо было прийти чуть раньше, дабы потом не ждать у кассы.

Молодой человек чувствовал, что перед ним самое ужасное несчастье, с подобным которому он до сих пор не встречался: несчастье немощной старухи, которую близкие бросают ради того, чтобы пойти в кино. Он хотел побыстрее улепетнуть, он не хотел больше ничего знать, он попытался вырвать руку. Какой-то миг он испытывал слепую ненависть к этой старухе и едва сдержался, чтобы не отвесить ей оплеуху.

Наконец ему удалось высвободиться и скрыться, а больная между тем, полуприподнявшись на кресле, с ужасом глядела, как исчезает единственная достоверность, на которую она могла бы рассчитывать. Теперь ничто ее не защищало. Полностью погрузившись в мысли о своей смерти, она ясно не сознавала, что именно ее пугает, но точно знала, что не

хочет остаться одна. Бог годился только для того, чтобы отделять ее от людей и погружать в одиночество. Она не хотела покидать общество людей. И от этой мысли она заплакала.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.